

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«НИКЕЯ»

Классика русской духовной прозы

Борис Ширяев

Неугасимая лампада

«Никея»

1954

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

Ширяев Б. Н.

Неугасимая лампада / Б. Н. Ширяев — «Никея»,
1954 — (Классика русской духовной прозы)

Повесть «Неугасимая лампада» – самое значительное произведение Бориса Николаевича Ширяева, русского писателя второй волны эмиграции. Оказавшись в Соловецком лагере в 1920-х годах, Б. Ширяев описал тяжелую жизнь его узников, полную страданий, лишений, но вместе с тем и неугасимого света надежды. Соединив рассказы о судьбах людей, соловецкие легенды и лагерный фольклор, автор создал образ «потаенной» Руси, которая от новой власти большевиков ушла «в глубину», подобно древнему Китежу. Обретя на Соловках спасительную веру, писатель сохранил ее навсегда и посвятил ей главную книгу своей жизни.

УДК 821.161.1
ББК 86.372+84(2Рос=Рус)1

© Ширяев Б. Н., 1954
© Никея, 1954

Содержание

Предисловие	5
Часть первая	6
Глава 1	6
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	19
Часть вторая	21
Глава 5	21
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Борис Николаевич Ширяев

Неугасимая лампада

Повесть

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Предисловие

Борис Николаевич Ширяев родился в Москве в 1887 году (по другим данным – в 1889 году) в семье крупного помещика. Будущий писатель окончил Московский университет (историко-филологический факультет) и Императорскую военную академию. Во время Первой мировой войны ушел на фронт и дослужился до звания штабс-капитана.

В 1918 году при попытке присоединиться к Добровольческой армии Ширяев был арестован большевиками и приговорен к расстрелу. Ему удалось бежать, но в 1922 году последовал новый арест. На этот раз приговор заменили десятию годами ссылки в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Здесь Борис Ширяев провел семь лет, выполняя тяжелые каторжные работы, а также участвуя в деятельности лагерного театра и в издании журнала «Соловецкие острова». Этот период жизни он описал в повести «Неугасимая лампада». Вы увидите в ней не только ужасы лагерной жизни, но и людей, которым удалось остаться собой в невыносимых условиях каторги, и даже вырасти духовно, стать лучше, сильнее, обрести свою веру. В этой книге много контрастов, но нет разделения на «черное» и «белое», точнее эти цвета меняются, как и души людей, и даже в полной тьме появляется свет.

Символом надежды на спасение для автора стала лампада, теплящаяся в землянке последнего схимника Соловков, который остался жить в лесу за стенами монастыря, день и ночь непрестанно творя молитву.

Борис Ширяев покинул Соловки в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны, живя в Ставрополе, он оказался в немецкой оккупации, а при наступлении советских войск – уехал из России. В 1945 году поселился в Италии, где писал прозу и литературоведческие статьи, сотрудничал с русскими журналами. В Буэнос-Айресе вышли книги Ширяева «Ди-Пи в Италии», «Я человек русский», «Светильники Русской Земли» и др.

Однако главной книгой жизни писателя была «Неугасимая лампада»: начав работу над ней в середине 1920-х годов, он закончил ее в эмиграции на острове Капри в 1950 году, за девять лет до своей смерти.

Оксана Шевченко

Часть первая В сплетении веков

Глава 1 Святые ушкуйники

Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы, – присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски – «Святой Савватий».

Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, разворачивается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь – первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.

Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.

Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными – таких нежных нигде, кроме Соловков, нет – невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники – щеголи красноголовые, боровики – купцы московские, тугие – не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени – ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник...

Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365, – сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья – каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку...

Дебря Соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поселились весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклатья на них святитель не наложил.

– И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю¹, там живите, а здесь – место свято! Его покиньте!

¹ Матерая земля – здесь: материк.

С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человеческой, но и скотской горячей крови.

Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава² на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетьям³ пришедшими в монастырь новыми трудниками.

Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Много, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим...⁴

* * *

Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» – ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчевые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского венецейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, Московских великих княжен.

Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосима и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт – нетленен весь.

Соловецкие монахи – особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал.

Так в истинных древнего писания Житиях сказано.

Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и нападений.

Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал, на

² Полуустав – одна из разновидностей письма в славянских рукописях, возникшая в XIII в.; проще и мельче устава.

³ Подклеть – нижний этаж храма, имеющий хозяйственное назначение.

⁴ Глава «О двух великих грешниках» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в песенной обработке.

Светлое Христово Воскресение. Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя.

– Телесное тружение – Господу служение, обители – слава и украшение, бесам же блудным – поношение, – поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали.

От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу Угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками Земли Русской, возведены и неодолимая волной Муксоломская дамба – стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиною округ верста три четверти, толщею же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, Правителя Царства, ближнего боярина и царского шурина.

Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее.

Обычай сильнее времен. Он ниже на себя годы, как нить – окатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к Святому острову трудники со всей Земли Русской, и нет им конца-краю.

Тугим узлом закручены безвременные годы, и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней.

Когда последний Соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними – схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть и раз, в весеннюю пору, подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев со товарищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру... бутылку водки в руке держит.

– Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился – пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декретом... – стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму.

Встал старец от своей лампады и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: «помни, мол, там будешь».

Переменился Ногтев в лице, бутылку за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану, старцу же приказал паек выдавать и службу к нему из монахов назначил.

Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божьего.

Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, Посадницы.

Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширную стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли Полуночные – Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукою Московского царя не были. Господин Великий Новгород ими володал; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, собирали его вольные дружинники – ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чернобурую, соболя... Таким ратником-землепроходцем и святитель смолodu был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить.

С великою честью приняли старца Новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили – всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, – но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы

тех стран под своею высокою рукою держать, суд им творить и собирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать.

В те годы всем Новгородом, пятнами его и концами посадника Марфа Борецкая правила и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре – все без голов...

Так и сбылось. Посек гордые головы грозный Московский царь, попалил огнем Новгородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью Московского царства.

Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлею им удушенных. Тоже давно это было; в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того: старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали.

Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своею патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патриаршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал.

Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начал своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на Святую обитель. Не устрасился ее игумен, затворил окованные железом ворота перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены.

Снова воспрянула супротив Москвы вольности Новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, «собинного» друга царя... Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушке бора. От них лишь ямки остались.

Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в Житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеною кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землею шла.

Темною ночью, потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху.

Крови, однако, пролить на Святом острове и Мещеринов не посмел: петлею наиболее упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на Светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева – неведомо.

* * *

Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новгородских ушкуйников⁵. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто – на полночь, к Студеному морю-океану, кто – на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чухлому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесаных смолистых бревен и шли, шли, шли...

Но была тогда и иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечерового колокола, но под сладостными напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во стократ дороже, за тем, чего не купить было на шумном

⁵ Ушкүй – легкое речное плоскодонное гребное судно с парусом (др. – рус.). Происходит от названия реки Асқуй – правого притока Волхова близ Новгорода.

торжище Новгородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили...

Такими ушкуйниками были и соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было:

– Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь! – повествуют древние рукописные Жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты Соловецкого архимандрита.

Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой Московского царя. Он – временный, земной, человеческий. Но пели свою горную песнь звонницы Святой Софии. Они – вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола Преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма Соловецкого, сложенного из валунов и нетесаного бурелома, во имя светлого Преображения. Алчущая и жаждущая преображения Духа своего Святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему. Светлого Преображения Духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там во имя Преображения Господня.

* * *

В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожара стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища Духа.

Сотворенное человеком – видимое – сгорало. Сотворенное Богом – невидимое – жило. Оно – вечно.

Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц Святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие, в жажде светлого преображения трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове.

Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа Державы Российской, Святой Руси – вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле – тонкие нити жизней новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения.

О них – эта запись безвременных лет.

Глава 2

Первая кровь

Вот, наконец, они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная мольвь странников, молитвенников и во Христе убогих Земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси...

И теперь... тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметавшей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся.

Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кеми, в специальном арестантском вагоне – позади. Девять дней в клетке. Клетки – в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке – три человека, в коридор – решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища – селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову. «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка.

На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежащему «купе» в «особом» вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский, полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него – ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него сверху торчит взлохмаченная голова, а с боков – голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все.

Блатной закон не знает пощады: проиграл – плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках – зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь.

Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись «страною свободы», он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал... на Соловки. Поеживаясь, поет «Мадлен», но жизнерадостности не теряет.

Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой – старая контузия, память о бое под Кореновкой.

– Дошли до точки! Дальше что?

Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова.

Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни – шест; на нем – обвисший красный флаг.

Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.

Кажется вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.

– Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!

Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец, построены, хотя, вместо шеренги, причудливо извиваются какие-то зигзаги.

Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее владыка острова – товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.

– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи – высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь.

– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас – свой закон, – далее дается пояснение этого закона в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.

– Ну, а теперь, – заканчивает свою речь Ногтев, – которые тут есть порядочные, – выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах – полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.

– Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклеенные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.

– Эй, опиум, – кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, – подай бороду вперед, глаза – в небеса, Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть – приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.

Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно небритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка

духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.

– Какой срок? – спрашивает он седого, как лунь, епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы.

– Десять лет.

– Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!

Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров.

– Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, – в другую.

Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.

Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман.

Переключка продолжалась.

– Тельнов!

Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путанные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозой смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши, напряженные до судорог, мускулы.

– Следующий!.. – выкрикивает мою фамилию Васьков.

Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.

– Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! – шепчу я беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.

Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять...

Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней – жизнь и смерть. Каждая секунда – вечность. Четыре шага...

Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.

Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.

– ???

– Да!

Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!

Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?

Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилья, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

Но, конечно! Я жив! – Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука – позади.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемах почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал, скорее, добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлечшим чем-нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих незаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы.

Через пятнадцать лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов.

Участь «мавров, делающих свое дело», в СССР предрешена.

Глава 3

Соловки в 1923 году

И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных: в железах ли, в затворе или с братией купно, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось: «указанные персоны».

Когда братия уходила с острова, то древние книги и рукописи, – много было их в «книжной палате» архимандрита, – схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может – и в стену замуровали. Оставшимся чернецам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня, остальное было свалено в подвалы и в *«рухольную клеть»* монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего дониконианского и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами, после работы в лесу, и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве и значились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря.

В конце недолгого царствования второго Петра, по навету врагов своих – вошедших в силу Долгоруких – привезен был на Соловки первый граф Толстой, Петр Андреевич, заключен был в угловую кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении дочери Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику царицыну милость: все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть, а самому быть, где пожелает.

Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии, слезах скончал свои дни.

В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, и можно лишь догадываться, что при Екатерине попадали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяния в грехах ради, по церковному суду. Через год-два их отпускали.

Последним Соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Пробыл он в заточении вплоть до восшествия на Российский престол императора Николая Павловича. Сто один год ему был, когда пришло помилование, и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, ставший чуждым ему мир, но пострига не принял и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах кремля.

Его могила нетронута и по сей день. На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью.

* * *

Первые узники Соловецкой каторги – Соловецких лагерей особого назначения – СЛОН-ОГПУ – прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры Белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской Империи, ставшей тогда РСФСР.

Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилых баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами.

Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом, сюда шли «каэры» – заподозренные в контрреволюции (уличенных, конечно, расстреливали на месте), но была и шпана, и «легалые» провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так:

...И со всех углов Советского Союза
Едут, едут, едут без конца...
Все смешалось: фрак, армяк и блуза.
Не видать ни у кого лица...

В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячьем и Конде – четырех островах каторжного архипелага – было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле.

Охрану берегов нес Соловецкий особый полк (СОП) – мобилизованные. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, вследствие чего и были упрятаны подальше от глаз.

Первым начальником СЛОН был Ногтев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, во хмелю большой самодур: то «жаловал» без причины, отпуская с тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и палил из окна по проходившим заключенным... Стрелял он без промаха, даже в пьяном виде.

Топивший в его комнатах печи уголовник Блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог только будучи очень пьяным, но и заснувши, метался и кричал во сне:

– Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!

До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен гражданской войны.

Его заместителем и после него вторым начальником СЛОН, тогда ставшим УСЛОН, был латыш Эйхманс, тоже проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищения и растраты. Он был иного типа: интеллигентный (бывший студент Рижского политехникума), деловитый, энергичный, он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось. По неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эйхмансе кровавый хаос Ногтева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги.

Таковыми же «почетными» ссыльными были и остальные вельможи Соловецкой сатрапии первых лет: нач. адм. части тупой, звероподобный Васьков и нач. 1-го отд. УСЛОН грубый, но добродушный Баринов. Даже нач. санитарной части М. В. Фельдман, жена члена верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни: была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память: мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности.

Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении, из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав пятнадцати арестантских рот (шестнадцатая рота – кладбище на соловецком жаргоне).

Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от пятнадцати до двадцати пяти тысяч. За зиму тысяч семь-восемь умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпнотифозной эпидемии 1926—27 годов вымерло больше половины

заклученных. Но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходиться пополнения, и к ноябрю норма предыдущего года превышалась.

Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли «трудовой пролетариат» и были на привилегированном положении: размещались по пять-шесть человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых, имели пропуск за ворота кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшихся от образцового монастырского хозяйства: верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. Четвертая и пятая роты – хозяйственные, тоже со смягченным режимом. Шестая – духовенство. Она была сформирована позже уже во время правления Эйхманса, и создавалась в силу необходимости. До того времени на кухни и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались: голод – не тетка. Это надоело Эйхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно духовенству, до того рассеянному по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за складские прилавки, диаконы пошли месить тесто, престарелые – в сторожа. Кражи прекратились.

В десятой роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато одиннадцатая рота была тюрьмой в тюрьме: помещения на ночь запирались. Три последние роты – самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Бесперывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на торфяных болотах и в море – вязка плотов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала пятьдесят процентов.

Счастливые, после долгих мытарств, попадали в отдаленные командировки: в Савватиевский скит – главную стоянку рыболовов, на Муксому, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее.

Женщины помещались отдельно в «женбараке», вне кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: но с Заячьего острова молились Соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на «Зайчиках» был только один мужчина – семидесятилетний еврей-бухгалтер из ЧК Моргулис. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против этого запрета жестоко карались: Ромео шел на Секирку, Джульетта – на Зайчики.

Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого – полкило. Жиров не было совсем. Цинга и туберкулез развивались быстро, и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в «шестнадцатую роту». Там его ждала всегда разверстая братская могила.

Особенно страдали от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже распатано водкой и кокаином.

В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента.

Непосильный для большинства двенадцатичасовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды.

Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы: лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки: срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу десять деревьев в день выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали. Замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили «на комарики»: привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, «гнуса», носились тучи. За преступления против дисциплины и лагерных правил полагались «Секирка» или «Аввакумова щель», о них – особый рассказ. На работах, особенно ночных, пристреливали часто. Но били очень редко. Слушаев избиения каэра я не помню. Шпане попадало.

С общих работ просачивались на производства. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспосабливались к соловецкой обстановке и пролезали в «чиновники» управления, прорабы, табельщики и т. д. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее помещение (пища была еще одинакова для всех), пропуск за ворота и другие блага.

Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспособлялось к новым уродливым формам.

На Соловках было тесно, и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно – трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно.

Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий «блат» – узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд – все это доводилось до предела возможного.

И вместе с тем, среди этой напозавшей мути безвременных лет, на Соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви, каких уже не было позже, в годы, описанные И. Солоневичем («Россия в концлагере»), и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже М. Розанов («Открыватели белых пятен»). Ближе всего к описываемому мною периоду очерк Г. Андреева «Соловецкие острова». Тем не менее, все три упомянутых автора писали правду: менялись времена – менялись люди.

Последние нити старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь. Соловецкие каторжане «первых призывов» были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта – «житухи», они не были еще теми «мизерами», размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за «местечко под солнцем», за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади...

На Соловках это столкновение – связь двух эпох – переживалось острее и резче, чем «на воле», ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и здесь и там на смену человеку шел гомункулус, механизм; брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось...

На Соловках первых лет их существования это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России.

Глава 4

Без вины виновные

На Соловках первой половины двадцатых годов, до стабилизации концлагерной системы, не было ни одного заключенного, осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное, хотя бы с советской точки зрения, преступление. Все каторжане всех категорий, от уголовной шпаны до высших иерархов церкви, были сосланы туда по постановлениям верховной коллегии ОГПУ, особого совещания при ОГПУ и местных троек по борьбе с контрреволюцией, т. е. внесудебным порядком.

Уголовники: воры-рецидивисты, притонодержатели, проститутки-хипесницы и просто бродяги осуждались по ст. 49-й старого уголовного кодекса РСФСР, как «социально-опасные», на основании их прежних приводов, недоказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под «суд народной совести» и получали короткие сроки исправдома, где находились в значительно лучших условиях.

Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко, при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО (уголовного розыска), а пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником банд. отдела Московского ГПУ был некто Буль, в прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире «мокрятник» (убийца); его помощник Шуба – тоже бывший бандит. Позже, по миновании надобности, всех их, в том числе и Буля, расстреляли.

Аналогичный метод подбора ссыльных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра – в среде «политических», к которым тогда причислялись *только члены социалистических партий*. Армянские дашнаки, бакинские муссаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий – кадеты, октябристы и монархисты, – в этот разряд не попадали. «Политические» на Соловках до 1926 года жили отдельно, в Савватьевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР М. Андреевой, бывшей жены М. Горького. Крупные партийцы – социалисты-революционеры, меньшевики и бундовцы – попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор, на Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции.

Основную массу соловецких каторжан того периода составляли «каэры», осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами «каэров» были офицерство (как белое, так и принявшее революцию) и духовенство. Но, кроме них, в этот разряд попадали самые разнообразные лица: камергеры Двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники; фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики; профессора, финансисты, валютчики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было!

Термины «бывший» или «знакомый с NN» служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров Белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после победы над генералом Врангелем, но все же их ссылали и истребляли. Потенциальными, пассивными «каэрами» были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов.

Уродливость советской «юриспруденции» доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за... антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власть имущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки под аплодисменты не только лагерного начальства, но и верховного владыки, приезжавшего туда члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия.

Брат большевицкого публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политике, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшие «изъятию» крест и чашу. Это узналось, и еврей В. Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник.

Императорский, а позже красноармейский офицер В. Мыльников получил десять лет по делу о «заговоре Преображенского полка», хотя единственным знакомым ему преображенцем был пор. Висковский, учившийся с ним вместе в 3-й московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся.

На Соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего – за что же, собственно говоря, он сослан?

В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов: и следователь и подследственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность «бывшего» и узнать десяток фамилий его знакомых, – «дело» было состряпано, обвиняемый получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по таким-то статьям, а потом – столь же краткий, содержавший лишь номера статей, приговор «заочного внесудебного решения» коллегии или особого совещания... и он был на Соловках, где по словам песни:

...попы, шпана, каэры
доживают век.
Там статья для всех найдется,
был бы человек!...

Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве.

Начиная с 1927—28 годов, тип «каэра»-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссякал. На Медведке, на Беломорском канале (период, описанный И. Солоневичем) «каэра» уже сменял «вредитель», незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая «контра», «хвостисты темпов развития» и т. д. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагеря гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудителем стерлась (период, описанный М. Розановым).

Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, «гражданин» эпохи победившего социализма.

Часть вторая

Неопалимая купина

Глава 5

И мы – люди

В одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов.

Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой, каторжной жизнью муравейника, в который он превратился в 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора, дворы были завалены мусором и обломками... Сорванные двери, разбитые окна... Пожарище...

Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцово благоустроенного монастыря – Кемский земельный отдел Архангельского совдепа – прежде всего занялся грабедом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за четыреста лет, но не успел вывезти и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ.

Новый хозяин шутить не любил и упускать свое «наследство» тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу – подожгли монастырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVII века, погибла в огне большая часть архива с грамотами Московских царей и Новгородских посадников, многие ценности ризницы, но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую, темную трапезную братии. В эту трапезную и попали прибывшие.

Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя половине его великой, пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно, превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гаррика, и Мочалова... Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой Великий Режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в Бутырках, он ухитрился и там, в набитой до отказа общей камере, составить нечто вроде труппы-варьете с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.